

УДК 821.161.1.0

DOI: 10.17223/19986645/39/9

Н.В. Гончарова, А.С. Янушкевич

В.А. ЖУКОВСКИЙ И А.В. НИКИТЕНКО: К ИСТОРИИ ЛИЧНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В статье анализируется сближение и расхождение творческих путей двух деятелей русской литературы. В жизни их сближали отношения взаимопомощи и совместный труд по изданию посмертных сочинений А.С. Пушкина, в творчестве – утверждение идеализма как жизнестроительной философии словесной культуры. Показан генезис исторической критики Никитенко, для которого идеализм и символическое мышление Жуковского, проявленное в концепте-символе Гений чистой красоты, стало точкой опоры для нового понимания красоты, синтеза идеального и действительного.

Ключевые слова: идеализм, русская литература, дарственные надписи, А.С. Пушкин, образ-символ, калокагатия.

Тема «В.А. Жуковский и А.В. Никитенко» многоаспектна и, к сожалению, пока еще мало изучена. Опубликованы письма Жуковского к Никитенко, отражающие в основном историю их встреч и общения в 1837–1841 гг. [1. С. 84–90]; в известных «Дневниках» Никитенко зафиксировано около 40 упоминаний имени Жуковского, воссоздающих историю прижизненных встреч двух деятелей русской культуры, деятельности Никитенко в комитете по изданию посмертных сочинений поэта, его оценок личности и творчества первого русского романтика [2. Т. 3. Указатель имен]. Но все эти фрагменты темы не сложились еще в общую картину, не получили системного осмысления. Цель данной статьи – рассмотреть историю личных и творческих отношений Жуковского и Никитенко как своеобразную семиосферу, включающую в себя различные аспекты и точки пересечения двух творческих систем.

В собрании отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета (ОРКП НБ ТГУ) хранятся две личные библиотеки: великого русского поэта В.А. Жуковского и историка русской литературы, критика, профессора Петербургского университета, цензора А.В. Никитенко. И этот факт определяет «томскую прописку» в изучении их личных и творческих взаимоотношений. Различные по количеству книг, по составу, по своеобразию маргиналий (подробнее см.: [3–5]), эти библиотеки – репрезентант интересов и направления умственного труда и духовного творчества двух выдающихся деятелей русской словесной культуры первой половины XIX в.

«Коломб русского романтизма в поэзии» и «гений перевода», Жуковский свою библиотеку формировал как органическую часть творческой лаборатории. Многочисленные антологии античной и европейской поэзии, издания современных поэтов, в том числе Шиллера и Гете, Байрона и Вальтера Скотта, сочинения Грея, Томсона, Голдсмита, Попа, Пфеефеля, Лессинга, Виланда, Гердера, Гебеля, Лафонтена, Флориана, Парни, Делиля, около 30 изданий

переводов «Одиссеи» Гомера на русский, немецкий, французский, английский языки были поистине его настольными книгами, откуда он черпал вдохновение, превращая «чужое» в «свое» и формируя феномен «всемирной отзывчивости» русской литературы. Обилие помет, записей, набросков переводов, дневниковые записи, рисунки – свидетельство особого значения библиотеки в его творческой биографии. Изучение произведений мировой этической, философской, исторической, общественно-политической, религиозной мысли, трудов по эстетике и истории литературы, созданные на основе их штудирования многочисленные конспекты, исторические таблицы – не только важный этап самообразования и самосовершенствования поэта, но и отражение процесса самоопределения и выработки концепции новой эстетики и жизнетворческой позиции.

Не менее значима была роль книги в жизни и творческой биографии А.В. Никитенко. Выросший в семье крепостного, не получивший систематического образования, он сумел превратить свою библиотеку во второй университет. Художественные произведения писателей XVIII–XIX вв., целый культурный пласт современной ему литературы 1820–1870-х гг., включая переводы европейских авторов на русский язык, – все это давало возможность постигать законы художественного творчества. Публикации исторических документов, материалы по развитию образования в России, исследовательские труды наиболее видных деятелей российской истории К.И. Арсеньева, Н.М. Карамзина, Н. Устрялова и др. обусловили историческую направленность его критической деятельности. Множество работ по философии, теории словесности определили глубину его теоретических воззрений, сформировали профессиональные практические представления [6].

После окончания философско-юридического факультета Петербургского университета он публикует в различных периодических изданиях сочинения, в центре которых проблемы этики («О преодолении несчастий»), политической экономии («О политической экономии вообще и в особенности о производимости как главном предмете оной»), современной литературы («О происхождении и духе литературы», «О творящей силе в поэзии, или О поэтическом гении»). Его становление как критика и историка литературы проходит под знаком «идей времени». В своей «Речи о необходимости теоретического или философского исследования литературы» (1836) он опирается на идеи своего духовного учителя А.И. Галича [7], сочинения Гердера, представителей французского Просвещения, английской политэкономии, прежде всего Адама Смита. Библиотека будущего профессора словесности Петербургского университета, автора уникального проекта «Постановления о публичных лекциях» формируется с установкой на энциклопедические интересы ее владельца.

В библиотеке Никитенко сохранились следующие издания сочинений поэта:

1. Стихотворения В. Жуковского. Т. 1–9. СПб., 1835–1844.
2. Ундина, старинная повесть. Издание А. Смирдина. СПб., 1837 (с дарственной надписью).
3. Наль и Дамаянти, индейская повесть. СПб., 1844.
4. Новые стихотворения В. Жуковского. СПб., 1849.

5. Сочинения Жуковского. Т. 10–12. Посмертные стихотворения. СПб., 1857.

6. Сочинения Жуковского. Т. 13. Сочинения в прозе. СПб., 1857.

Кроме этих изданий сочинений Жуковского в библиотеке Никитенко имеется брошюра П.А. Плетнева «О жизни и сочинениях В.А. Жуковского» (СПб., 1853) и альбом «Двадцать картин к Ундине, старинной повести, рассказанной стихами В.А. Жуковским» [СПб., 1837] с гравюрами немецкого художника Л. Майделя.

На основании этого списка можно говорить о длительном и устойчивом интересе владельца библиотеки к наследию великого русского поэта, а дарственные надписи свидетельствуют о дружеских отношениях Жуковского и Никитенко. О времени их знакомства повествует запись в дневнике Никитенко от 16 января 1835 г., рассказывающая о его встрече с поэтом на экзамене в Екатерининском институте, где с декабря 1830 г. он преподавал русскую словесность. Поэт, сам склонный к педагогической деятельности и занимавший должность наставника великого князя Александра Николаевича, высоко оценил труд Никитенко и сказал ему, что «в первый раз в жизни слышит, чтобы учащиеся имели такие познания в словесности и излагали их таким чистым русским языком» [2. Т. 1. С. 167–168].

Вскоре начинающий критик и педагог публикует в «Журнале Министерства народного просвещения» (1836. Ч. 9. № 1. Январь. С. 181–192. Подпись: *А. Н-ко*) отзыв о «Стихотворениях В. Жуковского» (к этому времени вышли тома I–IV и VII). Одним из первых Никитенко говорит о значении поэзии Жуковского для русского общественного и художественного сознания. Уже в самом начале своей статьи он заявляет: «...кто из соотечественников наших, вкусивших уже сколько-нибудь от плода Изящных Искусств, не знает или не знал наизусть многих стихотворений Жуковского? Жизнь, их одушевляющая, сделалась частью нашего нравственного существования. То, что гений чистой красоты внушает людям божественного и отрадного, перешло к нашему сердцу из его уст – в пленительных, дотоле не слыханных звуках родного слова. <...> Не удивительно, что влияние Жуковского на современное поколение гораздо глубже и обширнее, чем влияние всякого другого из наших Поэтов, исключая разве Крылова...» (С. 180–181). И далее критик последовательно развивает мысль о том новом направлении, которое связано с именем Жуковского, когда «наша Поэзия <...> сделалась нашею <...> Отсюда легко уже было сделать поворот к народности...» (С. 183). «Жуковский, – решительно говорит он, – открыл нам новые, не виданные дотоле богатства отечественного языка» (С. 186). Автор отзыва особенно отмечает вклад первого русского романтика в развитие прозаического слога, обращая взор читателя к эссе «Рафаэлева мадонна», «Путешествию по Саксонской Швейцарии», «Отрывкам писем из Швейцарии», приводя почти целиком текст «Взгляда на землю с неба», видя в нем «изображение великого назначения человечества» (С. 187). Дальнейшие отношения и расположение поэта к Никитенко – свидетельство того, что рецензия для него, говоря его словами, – «посол души, внимаемый душою».

«Он вошел в историю русской общественной мысли как автор интереснейшего дневника, содержащего непосредственные и живые отклики на

множество литературных, общественных, политических событий за целые полстолетия – с двадцатых по середину семидесятых годов XIX в., – пишет во вступительной статье издатель «Дневника» Никитенко И.Я. Айзеншток [2. Т. 1. С. V]. Дневники Жуковского в этом отношении не уступают ему. Они – летопись русского общественного и художественного развития 1800–1840-х гг. Но их сближает и то, что это «человеческие документы», отражающие характерные особенности жизнестроительства двух деятелей русской культуры. Около 40 записей в дневнике Никитенко связаны с Жуковским. Разные по объему, характеру информации, эмоциональному состоянию, они пронизаны чувством глубокой благодарности к нему как поэту и человеку. Три сюжета получают в них особый жизнетворческий смысл: совместная деятельность по увековечиванию памяти Пушкина, помощь Жуковского в освобождении от крепостной зависимости брата и матери Никитенко и активное участие последнего в издании посмертных сочинений великого русского поэта и друга.

О значении Жуковского как наставника и учителя Пушкина, как летописца последних дней и минут его жизни, как хранителя памяти о нем и издателя его посмертных сочинений существует огромная литература. Меньше известно о личных отношениях Никитенко и Пушкина. Соперники в любовном чувстве к Анне Керн, хотя молодой студент изначально почувствовал свое поражение: «Накануне она целый день провела с ним у его отца и не находит слов для выражения своего восхищения. На мою долю выпало всего два-три ледяных комплимента, и то чисто литературных» [2. Т. 1. С. 47], недовольство Пушкина цензурой своих произведений со стороны Никитенко (история с «Золотым петушком» и «Анджело»), упреки последнего по отношению к поведению поэта: «Поведение его не соответствует человеку, говорящему языком богов и стремящемуся воплотить в живые образы высшую идеальную красоту» [Там же. С. 58] – всё это никогда не затмевало в сознании Никитенко масштаба пушкинского гения. «Подвигом честного человека» можно назвать поведение Никитенко в день похорон Пушкина. Несмотря на строгое предписание, чтобы в этот день «профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях», профессор Никитенко «прощался с Пушкиным» в Конюшенной церкви, а затем «поехал на лекцию». «Но вместо очередной лекции, – записывает он в дневнике, – я читал студентам о заслугах Пушкина. Будь что будет!» [2. Т. 1. С. 197]. И затем на протяжении почти четырех лет он вместе с Жуковским активно участвует в издании посмертного собрания сочинений Пушкина. Он делает всё возможное и невозможное, чтобы помочь Жуковскому сохранить подлинные тексты поэта, провести их без потерь через цензуру. «Сегодня держал крепкий бой с председателем цензурного комитета князем Дондуковым-Корсаковым, за сочинения Пушкина, цензором которых я назначен» [Там же. С. 198] – эта запись от 30 марта 1837 г. с эмоциональной силой передает состояние Никитенко в борьбе за сохранение пушкинского наследия. И одновременно это верность идеалам Жуковского как хранителя памяти гения Пушкина. Накануне своего отъезда с наследником в путешествие по России в начале мая 1837 г. поэт почти ежедневно обращается к Никитенко с просьбой следить за цензурной судьбой сочинений Пушкина, в том числе посмертных публикаций в «Современнике». Особенно его волнует судьба «Записок бригадира Моро де Бра-

зе». 1837 г. стал важным этапом в сближении Жуковского и Никитенко. В этом году он дарит ему свою стихотворную повесть «Ундина», цензором которой был А.В. Никитенко, с дарственной надписью: «Александр Васильевичу Никитенко от автора».

Новым этапом их личных отношений стал 1840 г., когда они борются за издание последних трех томов посмертных сочинений Пушкина. Возвратившись из путешествия по России и Европе, Жуковский тщательно просматривает и редактирует манускрипты поэта, чтобы поскорее их выдать в свет. Обстоятельства жизни (и личной и служебной) требуют его постоянных вояжей за границу, в Германию. Поэтому Никитенко становится его доверенным лицом, пытаясь сделать всё возможное для прохождения драгоценных текстов через цензуру. Несмотря на болезнь в январе, он уже в феврале выполняет все поручения Жуковского. 26 февраля он фиксирует это в дневнике: «Мне лучше. Я еще не мог читать лекций, но ездил к Жуковскому, который на будущей неделе отправляется с наследником за границу и просил меня побывать у него поскорее. Он отдал мне на цензуру сочинения Пушкина, которые должны служить дополнением к изданным уже семи томам. Этих новых сочинений три тома. Многие стихотворения уже были напечатаны в «Современнике». Жуковский просит просмотреть всё это к субботе. Тяжелая работа! Но надо ее исполнить» [2. Т. 1. С. 219]. Встречи с Жуковским, зафиксированные в дневнике Никитенко, их беседы о состоянии русской литературы, высокая оценка поэтом критико-эстетических опытов профессора, в частности характеристики Батюшкова, желание «помочь материалом» – всё это позволяет говорить об их духовной связи. Как точно замечает Э.М. Жилякова: «Жуковский ценил в Никитенко образованного профессионала-цензора, профессора словесности, честного человека, преданного русской литературе» [1. С. 88].

Человеческая симпатия и уважение к соратнику по изданию сочинений Пушкина, по осуществлению других проектов, в частности «Библиотеки сказок» [Там же], свойственная поэту на протяжении всей его жизни филантропическая деятельность отразилась в его помощи по освобождению из крепостной неволи матери и брата Никитенко. Жуковский обращается непосредственно к графу Д.Н. Шереметеву, владельцу крепостных родственников Никитенко. В личном письме к нему от 5 апреля 1841 г. он, в частности, пишет: «Вы более нежели кто-нибудь в состоянии войти в положение Никитенки, заслуженного профессора, пользующегося всеобщим уважением и уже имеющего имя в литературе. Вы лучше других поймете, как должно быть для него тягостно знать, что старая 70-ти летняя мать его и его брат находятся в крепостном состоянии. И для Вас, конечно, не только не будет затруднительно, но будет приятно одним словом исправить это, можно сказать, бедственное отношение. Чтобы выразиться яснее, прошу Ваше сиятельство о даровании свободы и матери и брату профессора Никитенки: вот предмет, о котором я желал иметь честь переговорить с Вами лично» [8. С. 347]. Показательно, что в этом письме поэт называет Никитенко «приятелем». На это письмо граф, испытывая глубокое уважение к его автору, немедленно отвечал (как явствует из сохранившегося чернового письма от 7 апреля 1841 г.): «С удовольствием исполню желание ваше» [Там же. С. 348]. Дневниковая запись от

14 апреля 1841 г. выражает чувства Никитенко в связи с успешным завершением этого события: «Дело о матери моей и брате кончилось так хорошо только благодаря вмешательству Жуковского. Да благословит его Бог! Сегодня я был у него и благодарил его» [2. Т. 1. С. 231]. Так постепенно профессиональные отношения Жуковского и Никитенко перерастают в дружеские.

Основной пафос всей творческой биографии Жуковского и Никитенко, проявившийся в их культуртрегерской деятельности, – последовательное утверждение идеализма как философии современной духовной жизни и словесной культуры. Статьи Жуковского периода «Вестника Европы», прежде всего «О нравственной пользе поэзии» (1809), остро поставили в русской эстетике и критике проблему неразрывной связи добра, нравственности и красоты. Настойчиво подчеркивая свободу поэтического гения, особые законы стихотворного дарования, автор статьи решительно заявлял о неразрывной связи стихотворца-артиста и стихотворца-человека. «Искусство стихотворное, – пишет он, – дает понятие стихотворцу о том, что должен он делать как артист; но стихотворец именно потому, что он стихотворец, ужели не имеет никаких других обязанностей, перестает ли быть человеком, почитателем Бога, членом общества, сыном отечества? А будучи ими, ужели не имеет других важнейших особенностей, всегда неразлучных с обязанностями поэта?» [9. Т. 12. С. 201]. Эти вопросы и суждения Жуковского выявляли важность для русской словесной культуры того явления, которое еще во времена Античности получило название «калокагатия». Об актуальности этого понятия для русской литературы можно говорить много (см.: [10. С. 189–201]). Достаточно привести слова Иосифа Бродского из его «Нобелевской лекции» (1987). Он сказал: «Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека его реальность этическую. Ибо эстетика – мать этики; понятия "хорошо" и "плохо" – понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории "добра" и "зла". В этике не "всё позволено" именно потому, что в эстетике не "всё позволено", потому что количество цветов в спектре ограничено...» [11. Т. 2. С. 454].

Калокагатийная антропология в поэзии Жуковского начиная с 1814 г. всё ощутимее опирается на эстетические основания. В стихотворениях 1814–1824 гг., которые по праву можно назвать эстетическими манифестами, поэт последовательно вводит антропологию и онтологию калокагатийной философии в пространство прекрасного. В «Теоне и Эсхине» (1814) он стремление к «возвышенной цели» рассматривает как предназначение человека: «Всё в жизни к великому средство» и афористически определяет пафос этого состояния:

При мысли великой, что я человек,
Всегда возвышаюсь душою [9. Т. 1. С. 383].

Стихотворения «Цвет завета», «Невыразимое», «К мимопролетевшему знакомому Гению» (1819), «Лалла Рук» и «Явление поэзии в виде Лалла Рук» (1821), «Ангел и Певец», «Я Музу юную, бывало...» (1823), «Таинственный посетитель» (1824), эссе «Рафаэлева мадонна» (1821) – каждое из этих творений Жуковского и все они вместе варьировали различные составные, связан-

ные с понятиями «нравственное» и «прекрасное». Поиск образа-символа поэтической калокагатии становится поистине задушевной идеей всех эстетических манифестов этого периода.

Открытие тайного смысла явлений у Жуковского определяет расширение самих возможностей поэтического мышления, философствования. Используя и метафору, и аллереорию, и олицетворение, и миф, и эмблематику, Жуковский создает особый тип символического мышления. Функция каждого из этих приемов открывается у Жуковского в пределах того или иного стихотворного ряда, но символическое значение понятий «цвет завета», «таинственный посетитель», «мимопролетевший гений», «Лалла Рук», «Гений чистой красоты» открывается в общей системе стихотворений, в системе опосредований.

Образ-символ Гений *чистой* красоты впервые появляется у Жуковского в стихотворении «Лалла Рук» (начало февраля 1821 г.) в своеобразном варианте «Гений *чистый* красоты» [9. Т. 2. С. 223] и отражает атмосферу Берлинского придворного праздника, связанного с сюжетом поэмы Томаса Мура «Лалла Рук» и участием в нем великой княгини Александры Федоровны (подробнее см.: [9. Т. 2. С. 595–603; примеч. О.Б. Лебедевой]). Поэт еще словно сомневается в его жизненности: «Ах! не с нами обитает // Гений чистый красоты; // Лишь порой он навещает // Нас с небесной высоты...» Но уже в эссе «Рафаэлева мадонна», выросшем из письма к великой княгине от 23–29 июня 1821 г., этот образ получает своеобразный статус эстетического гражданства и отражает состояние, когда «душа распространялась; какое-то трогательное чувство величия в нее входило; неизобразимое было для нее изображено <...> Гений *чистой красоты* был с нею» (см.: [9. Т. 12. С. 343]). Выделение курсивом этого образа-символа не столько фиксирует его автореминисцентность (тем более что стихотворение «Лалла Рук» еще не появилось в печати), сколько закрепляет за ним масштаб «сквозного слова» и вводит его в большой контекст поэзии пушкинской поры. Появление эссе «Рафаэлева мадонна» в альманахе «Полярная звезда» за 1824 г. способствует такому прочтению образа-символа.

Молодой Никитенко сделал идеализм Жуковского своим вероисповеданием. Отрывок из его романа «Леон, или Идеализм», опубликованный в альманахе «Северные цветы на 1832 год», уже в своей номинации сопрягает духовные искания личности с «идеей времени» – с идеализмом. Это понятие для автора романа, как и для Жуковского, прежде всего связано с распространением и возвышением души (подробнее см.: [12. С. 210]). Сам концепт-образ души становится для героя романа психологической основой идеализма. «Человек тогда только знакомится с самим собою, когда начинает изучать внутреннюю жизнь духа», «нужно было показать постепенное развитие сил его души»; «Я родился в эпоху так называемых новых идей», «меня снедала томительная, жгучая жажда нравственной деятельности», «мысли человеческой, выработанной, закаленной, как сталь, в пламени возвышенной души»; «Таинственно, но верно совершается в новом поколении нравственный переворот...» [13. С. 115, 116, 123, 125] – эти и многие другие максимы героя определяют его жизненную философию, восходящую к идеям романтического идеализма Жуковского.

То, что в отрывках из романа «Леон, или Идеализм» определяло место романтического идеализма как основополагающего принципа жизнестроительства молодого Никитенко, в его критико-эстетических поисках уже имело непосредственную связь с традицией «Коломба русского романтизма». В упоминавшемся уже отзыве на «Стихотворения В. Жуковского» 1836 г. он прежде всего акцентирует «заслуги Жуковского в отношении к идеалу». Понятия «идеала», «идеального» буквально витают над его размышлениями о духе автора «Стихотворений...»: «Жуковский обратился к общей человеческой природе, очищенной, возвышенной до *идеального* достоинства», «везде однако же разумеет природу в лучшем, *идеальном* ее значении» [14. С. 184, 183, 186]. Идеализм Никитенко не был бегством от действительности, от духа времени и общественно-философских его тенденций, и в этом отношении вряд ли справедливо суждение И.Я. Айзенштока: «...идеалистом остается он на всем протяжении своей жизни, притом идеалистом воинствующим, непримиримо относящимся к малейшим проявлениям материалистического мировоззрения» [2. Т. 1. С. XIV].

Любопытный материал для диалектического взгляда на эту проблему дает рецепция идей и образов «Рафаэлевой мадонны» Жуковского в статье «Рафаэлева Сикстинская мадонна» Никитенко (1857) (подробнее см.: [15. С. 93–122]).

В эссе Жуковского нашли свое воплощение и развитие абсолютно все словесно-образные лейтмотивы, присутствующие в основном тексте стихотворения «Лалла Рук» и в комплексе связанных с ним текстов: мотивы сна и видения, «чистых» мгновений жизни, небесного Откровения, покрывала, отделяющего небесный мир от земного, и невыразимой небесной красоты, воплощенной в женском образе. Но ядром этого экфразиса, вербального воссоздания картины Рафаэля, становится концепт-символ Гения чистой красоты. Воссоздавая свое впечатление, поэт пишет: «Я был один; вокруг меня всё было тихо; сперва с некоторым усилием вошел в самого себя; потом ясно начал чувствовать, что душа распространяется; какое-то трогательное чувство величия в нее входило; неизобразимое было для нее изображено, и она была там, где только в лучшие минуты жизни быть может. *Гений чистой красоты* был с нею...» [9. Т. 12. С. 342]. Выделенная курсивом автоцитата, вошедшая затем на правах реминисценции в текст пушкинского «Я помню чудное мгновенье», стала для русской эстетической мысли прежде всего выражением философии романтического идеализма. Никитенко еще в 1836 г. в рецензии на «Стихотворения В. Жуковского» обратил внимание на это произведение Жуковского, подчеркивая в нем, как и в других сочинениях поэта, «стремление к бесконечному, к чистейшей идеальной красоте» [14. С. 187].

Между появлением «Рафаэлевой мадонны» Жуковского и рождением «Рафаэлевой Сикстинской мадонны» Никитенко прошло более 30 лет, а это несколько эпох в русском эстетическом сознании. Уже в заглавии статьи уточняющим определением «Сикстинская» А.В. Никитенко придает своим размышлениям более конкретный, исторический характер. Жизнетворческий экфразис Жуковского, ориентированный на идеи романтического визионерства и мифологему Гения чистой красоты, в системе «аналитической критики» Никитенко максимально редуцирован. Идеи христианской цивилизации,

связанные с деятельностью Сикста, с общей эволюцией человеческой морали внесли существенные коррективы в эстетические принципы романтизма.

С одной стороны, в своей статье Никитенко вслед за Жуковским говорит о магической силе Рафаэлевой мадонны, о «живой, самосущей» красоте, связанной с нею. Он, как и поэт-романтик, видит в ней высший смысл искусства: «Впечатление, ею возбужденное, столь могущественно и неотразимо, что вы на несколько времени лишаетесь способности думать и говорить о чем-нибудь, кроме нее» [16. С. 586]. Но как человек нового времени, Никитенко уже более трезво относится к эстетике идеализма. В дневниковой записи от 19 октября 1855 г., анализируя развитие умственной деятельности от Карамзина до Гоголя, он так оценивает личности и деятельность Карамзина и Жуковского:

Души восприимчивые, благородные, нежно настроенные ощутили над собой могущество великих верований человечества и радостно, беззаветно отдались первым впечатлениям этого отрадного знакомства. Таковы Карамзин и Жуковский. Но в этом *прекраснодушии* еще узкий взгляд на вещи. Это состояние юношеской неопытности, которая не ведает зла. Это, если можно так выразиться, сластолюбивое отношение к истине и красоте, а не деятельности мужей, для которых жизнь есть не игра в прекрасные чувства, а подвиг и победа. Но лучшие умы постепенно отрезвляются и перестают смотреть на мир сквозь близорукие очки собственного сердца, которое видит лишь только то, что хочет видеть, то есть чем может наслаждаться и с чем может мириться. Они уже глубже всматриваются в вещи и находят, что тут не до сибаритской роскоши чувств. <...> Переходным звеном здесь является Пушкин: он уже недоволен, тревожен. Язвителен, хотя и в личном еще смысле. За ним идет Лермонтов, а там вдруг вырастает Гоголь... [2. Т. 1. С. 360–361].

В тексте самой статьи Никитенко более сдержанно говорит о «прочтении» Рафаэлевой мадонны идеалистами-романтиками. Более того, он даже вскользь упоминает об образах «невещественной» красоты и отдает дань «ясновидению Рафаэлева гения» (16. С. 589). Но знаменательно, что имя автора «Рафаэлевой мадонны» исчезает в «Рафаэлевой Сикстинской мадонне». Статья Жуковского, ставшая в это время уже классикой русской эстетической мысли, не упоминается вообще. Автор статьи о Жуковском «со стороны его поэтического характера и деятельности» как будто забывает его «Письмо о Дрезденской галерее», его мифологему Рафаэлевой мадонны. И это нельзя рассматривать иначе как тактический шаг критика. Память о поэте, его концепции визионерства и Гении чистой красоты живет в подтексте статьи критика 1850-х гг., боготворившего рыцаря романтизма, но живущего в другом времени и мыслящего категориями «исторической критики». Обратившись к балладе Жуковского «Старый рыцарь» для комментария к драматической истории создания так и не законченной картины Брюллова, Никитенко косвенно напоминает о творце «Рафаэлевой мадонны», который тоже долго («целый час») стоял перед творением Рафаэля и убедился, что «это не картина, а видение», что «эта картина родилась в минуту чуда». Только курсивом выделенная цитата из баллады и последующее решительное заявление:

«Только это не был сон...» разрушает ваккенродеровскую легенду о сне Рафаэля и ее отзвуки в статье Жуковского. На протяжении всей статьи Никитенко так и не вспомнит об этом.

Еще в статье Белинского, посвященной речи Никитенко о критике, были сформулированы методологические установки для понимания исторической роли христианства в новом понимании красоты как «красоты нравственного мира». Критик писал:

Христианство нанесло решительный удар безусловному обожанию красоты как красоты. Красота мадонны есть красота нравственного мира, красота девственной чистоты и материнской любви; ее могла выразить только живопись, но уж никаким образом не могла выразить бедная скульптура [17. С. 277].

Никитенко пытается эту концепцию исторического развития красоты последовательно соотнести с идеями христианства, а творца Сикстинской мадонны сделать одним «из величайших изъяснителей христианства». И если для Жуковского главное выражение гения Рафаэля – его великая душа, а в его картине – стремление «изобразить для глаз верховное назначение души человеческой», то для Никитенко не менее важно место Рафаэля и его творения для умственной жизни, для истории общественной жизни и идей христианства. Сам экфразис Сикстинской мадонны у Никитенко – это скорее попытка вербального описания сюжета и образов творения Рафаэля. Если Жуковский, воспринимая Рафаэлевую мадонну как видение и откровение, говорит о картине – (при этом замечая: «если слово *картина* здесь у места») [9. Т. 12. С. 344] как о чуде, не подвластном выражению, то Никитенко, усердно члени картину на образы, ищет в каждом из них идею христианства, пытается прозреть в них «обыкновенные и естественные формы».

Внедряя в текст эссе фрагмент из своего стихотворения, Жуковский формирует именно житнетворческий экфразис, где пересекаются и соотносятся тайны поэзии и живописи, где «Жизнь и Поэзия одно». Никитенко остается в своей статье историческим критиком и историком искусства. Его экфразис не больше чем искусствоведческая конструкция. В нем душа не распространяется; в нем главный герой – ум современного критика. Идеализм органично входит в систему его «исторической критики» как определенный этап проблемы отношения искусства к действительности. Не случайно Николай Чернышевский называл себя его «учеником», а в личной библиотеке А.В. Никитенко (собрание НБ ТГУ. № 22249) сохранился экземпляр книги Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (СПб., 1855) с дарственной надписью: «Александр Васильевичу Никитенко, в знак глубокого уважения от его ученика».

Сразу же после смерти Жуковского Никитенко написал статью «Василий Андреевич Жуковский, со стороны его поэтического характера и деятельности», которую опубликовал в журнале «Отечественные записки» (1853. Т. 86. № 1. Отд. 2. С. 1–36; позднее издана отдельной брошюрой). Статья получила высокую оценку современников. Как записал в дневнике 8 января 1853 г. ее автор: «До меня вообще доходят вести, что статья моя принята в публике

очень хорошо» [2. Т. 1. С. 358]. П.А. Плетнев, очень близкий к Жуковскому человек, сам только что написавший о нем статью «О жизни и сочинениях В.А. Жуковского» (Живописный сборник 1853 года. Т. 3. С. 355–397), так, по словам Никитенко, оценил его публикацию: «Вы попали прямо в суть дела, – сказал он мне, – и превосходно определили Жуковского со всех сторон. Особенно хорошо определены у вас отношения его к Обществу. Я сам старался везде показывать, что деятельность писателя есть гражданская заслуга» [2. Т. 1. С. 357–358].

Уже эпиграф – стихотворение «К портрету Жуковского» А.С. Пушкина: «Его стихов пленительная сладость // Пройдет веков завистливую даль...» – определяет пафос статьи. Критик формулирует его лаконично и четко: «...очертить в общей картине характер его литературной деятельности и значение, какое имеет она в истории нашей словесности и образования» [18. С. 2]. Поистине в его статье реализуется замечательный афоризм поэта: «Жизнь и Поэзия одно». Но Никитенко расширяет пространство этого взаимодействия. Постоянно подчеркивая высоту «идеального синтетического воззрения», «сближения действительности идеальной и действительности вещественной» через «синтезис», он говорит о синтезе национального и общечеловеческого, «своего» и «чужого» в поэзии Жуковского. Раскрывая природу этого синтеза, автор статьи показывает, как в имени Жуковского «заключается целый период нашей словесности», как «он первый из наших писателей идею чистой красоты сделал господствующею в своих творениях, первый был поэтом в прямом художественном смысле этого слова, понял глубоко эстетическое значение литературы и возбудил к ней всеобщее значение», «он дал нашей лирике поэтический смысл, а это очень важно; ибо лирика в каждой литературе есть пульс, которым означает движение ее жизненных сил» [18. С. 1, 4, 17]. Главное значение статьи Никитенко заключается в том, что он свои критические афоризмы материализовал через глубочайший анализ слова Жуковского. В этом отношении его статья является развитием основных идей и образов статьи самого Жуковского «О поэте и современном его значении. Письмо к Н.В. Гоголю» (1848), в центре которой – интерпретация выражения Пушкина: «Слова поэта суть уже дела его» (об этом см.: [19]). Мысли критика о природе слова Жуковского не потеряли своей актуальности и сегодня. Достаточно лишь процитировать одно его высказывание:

Жуковский обладал тем победительным могуществом слова, которое каждую выражаемую мысль не только делает доступною нашему сознанию, но вносит ее в самые сокровенные отправления сердца, мчит ее, так сказать, с собою по жилам и нервам всего существа нашего. Поэтому естественно, что из каких бы отдаленных человеческих источников Жуковский не почерпал идеи и образы, они тотчас становились собственностью всей нашей литературы, стремившейся быть образованною, человечественною [18. С. 12].

Идея нравственного влияния Жуковского на отечественную общественную жизнь и литературу обретает свое развитие и конкретизацию через по-

стоянно возникающую историко-литературную параллель Жуковский – Пушкин. Одним словом, статья Никитенко не превратилась в некролог о Жуковском. Она всем своим содержанием и пафосом была устремлена в будущее, навстречу юбилейным статьям 1883 г., монографии А.Н. Веселовского, критическим выступлениям поэтов Серебряного века.

Дневниковые записи Никитенко после написания и публикации статьи, относящиеся к 1855–1857 гг., отражают его участие в особом комитете «для рассмотрения посмертных сочинений Жуковского», написание «предисловия к дополнительному изданию сочинений Жуковского», участие в обсуждении «проекта памятника, который собираются воздвигнуть на могиле Жуковского» и открытии этого памятника, в «похоронах вдовы Жуковского» [2. Т. 1. С. 423, 439, 443, 450, 466]. В 1867 г. он «видел сына поэта Жуковского, молодого человека, весьма приличной наружности», с которым «поговорил об его знаменитом отце» [Там же. Т. 3. С. 103]. Так на протяжении почти полувека развивалась история личных и творческих отношений В.А. Жуковского и А.В. Никитенко.

Литература

1. Жилыкова Э.М. Письма В.А. Жуковского к А.В. Никитенко // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2011. № 4 (16). С. 82–92.
2. Никитенко А.В. Дневник: в 3 т. Серия литературных мемуаров / подгот. текста, вст. ст. и примеч. И.Я. Айзенштока. [Л.]: Гос. изд-во худож. лит., 1955–1956.
3. Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч. 1–3. Томск, 1978–1988.
4. Колосова Г.И. Собрание книг А.В. Никитенко в фондах НБ ТГУ // Книга в России XVII – начала XIX в.: Проблема создания и распространения : сб. науч. тр. Л., 1989. С. 27–33.
5. Колосова Г.И. Библиотека профессора, историка литературы А.В. Никитенко: подходы и методы исследования // Проблемы литературных жанров: материалы X междунар. науч. конф., посвященной 400-летию г. Томска, 15–17 октября 2001 г. Ч. 1. Томск, 2002. С. 21–26.
6. Гончарова Н.В. А.В. Никитенко как теоретик русской словесности (по материалам библиотеки профессора) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. № 390. С. 5–10.
7. Гончарова Н.В. Уроки А.И. Галича в становлении литературно-эстетических взглядов А.В. Никитенко // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. № 394. С. 15–20.
8. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки славянской культуры, 1999–2012. Т. 1–10, 12–14.
9. Янушкевич А.С. Феномен калокагатии в русской словесной культуре 1790–1830-х гг. Ст. 1 // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. № 3 (35). 2015. С. 189–201.
10. Бродский И. Форма времени: стихотворения, эссе, пьесы: в 2 т. Минск, 1992.
11. Янушкевич А.С. Слово и образ в лирике В.А. Жуковского 1815–1824 гг. // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск, 2007. Вып. 10. С. 207–219.
12. Северные цветы на 1832 год / Изд. подгот. Л.Г. Фризман. М., 1980 (Литературные памятники).
13. Русский архив. 1883. Кн. 1. С. 347–348.
14. Журнал Министерства народного просвещения. 1836. Ч. 9. № 1 (Январь). С. 180–192.
15. Лебедева О., Янушкевич А. Сикстинская Мадонна Рафаэля в русской словесной культуре XIX века: житнетворческий экфразис // Paralleli: studi di letteratura e cultura russa. Per Antonella d'Amelia a cura di Cristiano Diddi e Daniela Rizzi. Salerno, 2014. P. 93–122.
16. Никитенко А.В. Рафаэлева Сикстинская Мадонна // Русский вестник. 1857. Т. 11. С. 586–597.
17. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 6. С. 267–334.
18. Никитенко А.В. Василий Андреевич Жуковский, со стороны его поэтического характера и деятельности. СПб., 1853. 36 с.

19. А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: в 2 т. М.: Худож. лит., 1974. Т. 1. С. 35–36; Т. 2. С. 470–471.

V.A. ZHUKOVSKY AND A.V. NIKITENKO: THE HISTORY OF PERSONAL AND CREATIVE RELATIONSHIP

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 108–121.

DOI: 10.17223/19986645/39/9

Goncharova Natalia V., Yanushkevich Aleksandr S., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: Nauchka@mail.ru / asyanush50@yandex.ru

Keywords: idealism, Russian literature, inscriptions, A.S. Pushkin, image-symbol, kalokagathia.

The article presents personal and creative relationship between Zhukovsky and Nikitenko as a specific semiosphere based on the history of their lifetime meetings and creative cooperation. Using the material of two private libraries as well as their correspondence and diaries, we follow the steady interest of critic and literary historian A.V. Nikitenko to the personality and works of V.A. Zhukovsky, the first Russian romanticist. Nikitenko's library still has six editions of Zhukovsky and an illustrated album, two of them with inscriptions which testify to the friendly relations of the great Russian poet and the professor of literature. The diary entries show that three plots acquire a special life-creating value: joint activity on the perpetuation of the memory of A.S. Pushkin, Zhukovsky's assistance in the liberation from serfdom of Nikitenko's brother and mother, and Nikitenko's active participation in the publication of the posthumous works of the great Russian poet and friend.

In his critique of *Stikhotvoreniya V. Zhukovskogo* [V. Zhukovsky's Poems] (1836), Nikitenko appreciates the value of Zhukovsky's poetry for the Russian public and artistic consciousness. The critic consistently develops the idea of a new direction in poetry that shows the "wealth of the national language", and marks the contribution of the first Russian romanticist to the development of the prose style, drawing the reader's attention to the essays "Rafaeleva madonna" [Raphael's Madonna], "Puteshestviye po Saksonskoy Shveytsarii" [A Journey through Saxon Switzerland] "Otryvki pisem iz Shveytsarii" [Excerpts of letters from Switzerland].

The main pathos of the whole creative biography of Zhukovsky and Nikitenko is a consistent statement of idealism as a philosophy of modern spiritual life and verbal culture. Zhukovsky sharply raised the problem of the inextricable connection of the good, morality and beauty in Russian aesthetics and criticism. In his poems of 1814–1824, which can rightly be called aesthetic manifestos, the poet consistently introduces the anthropology and ontology of kalokagathia philosophy in the space of beauty. Through the image-symbol "spirit of pure beauty" Zhukovsky creates a special type of symbolic thinking; the image receives the status of aesthetic citizenship in the essay "Rafaeleva madonna" [Raphael's Madonna] and reflects the state of the propagation of the soul. For Nikitenko the concept-image of the soul is the psychological basis of idealism, but in his critical and aesthetic quest he tries to see "ordinary and natural forms".

After Zhukovsky's death, Nikitenko wrote the article "Vasily Zhukovsky, On His Poetic Nature and Activities" (1853), in which he talks about the synthesis of the national and the universal in the poet's works. The idea of Zhukovsky's moral influence on Russian social life and literature develops and specifies through the constantly emerging historical and literary parallel Zhukovsky – Pushkin.

Nikitenko's idealism was not an escape from reality, from the spirit of the time and social and philosophical trends, it is an organic part of his "historical criticism" system as a stage of the problem of relation of art to reality.

References

1. Zhilyakova, E.M. (2011) V. Zhukovsky's letters to A. Nikitenko. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 4 (16). pp. 82–92. (In Russian).
2. Nikitenko, A.V. (1955–1956) *Dnevnik: v 3 t.* [Diary: in 3 vols]. [Leningrad]: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury.
3. Kanunova, F.Z. et al. (eds) (1978–1988) *Biblioteka V.A. Zhukovskogo v Tomске* [V.A. Zhukovsky's Library in Tomsk]. Vols 1–3. Tomsk: Tomsk State University.

4. Goncharova, N.V. (2015) A.V. Nikitenko as a theorist of Russian literature (on the materials of Professor's library). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 390. pp. 5–10. (In Russian).
5. Goncharova, N.V. (2015) Lessons of A.I. Galich in the formation of literary and aesthetic views of A. Nikitenko. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 394. pp. 15–20. (In Russian).
6. Zhukovsky, V.A. (1999–2012) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t.* [Complete works and letters: in 20 vols]. Vols I–X, XII–XIV. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
7. Yanushkevich, A.S. (2015) The kalokagathia phenomenon in the Russian verbal culture of 1790–1830s. Article 1. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 3 (35). pp. 189–201.
8. Brodsky, I. (1992) *Forma vremeni: stikhotvoreniya, esse, p'esyy: v 2 t.* [Time Form: poems, essays, plays: in 2 vols]. Minsk: Eridan.
9. Yanushkevich, A.S. (2007) Slovo i obraz v lirike V.A. Zhukovskogo 1815–1824 gg. [Word and image in the lyrics of V.A. Zhukovsky of 1815–1824]. *Aktual'nye problemy leksikologii i slovoobrazovaniya*. X. pp. 207–219.
10. Frizman, L.G. (ed.) (1980) *Severnye tsvety na 1832 god* [Northern Flowers in the year 1832]. Moscow: Literaturnye pamyatniki.
11. *Russkiy arkhiv*. (1883). 1. pp. 347–348.
12. *Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya*. (1836). IX: 1 (January). pp. 180–192.
13. Lebedeva, O. & Yanushkevich, A. (2014) Sikstinskaya Madonna Rafaelya v russkoy slovesnoy kul'ture XIX veka: zhiznetvorcheskiy ekfrazis [Sistine Madonna by Raphael in the Russian verbal culture of the 19th century: life-creating ekphrasis]. In: d'Amelia, A. *Paralleli: studi di letteratura e cultura russa*. Salerno.
14. Nikitenko, A.V. (1857) Rafaelova Sikstinskaya Madonna [Raphael's Sistine Madonna]. *Russkiy vestnik*. XI. pp. 586–597.
15. Belinsky, V.G. (1955) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Vol. 6. Moscow: USSR AS.
16. Nikitenko, A.V. (1853) *Vasilii Andreevich Zhukovskiy, so storony ego poeticheskogo kharaktera i deyatel'nosti* [Vasily Zhukovsky, On His Poetic Nature and Activities]. St. Petersburg.
17. Grigorenko, V.V. et al. (eds) (1974) *A.S. Pushkin v vospominaniyakh sovremennikov: v 2 t.* [A.S. Pushkin in the memoirs of contemporaries: in 2 vols]. Vols 1–2. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.